

# Г. ГЕССЕ

---

В 66 лет Гессе закончил писать свою знаменитую «Игру в бисер» (HERMANN HESSE Das Glasperenspiel 1943), а через три года получил за нее Нобелевскую премию (1946). В приложении к основному тексту Гессе дал стихи и три небольшие рассказа как созданные Иозефом Кнехтом, главным действующим лицом романа. Предполагается, что в этих рассказах Иозеф Кнехт дал описание некоторых из своих предыдущих жизней. Я публикую последние два как наиболее значительные. «Индийское жизнеописание» — последний рассказ из трех.

«Игра в бисер» — великая книга, мудрая, величественная и неторопливая. Читатель привыкший к динамичному более раннему Гессе вполне может над ней заскучать. Но это не касается приложения. Здесь Гессе так же стремителен, как в «Степном волке» или «Клейне и Вагнере». И так же глубок. Обычно «Игра в бисер» печатается в переводе С. К. Апта. Это хороший переводчик, и перевод хороший, но я люблю больше тот перевод, который прочитал первым. В этом переводе (1969 года) я и публикую «Индийское жизнеописание».

А. С. Кончеев.

## ИНДИЙСКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

*Перевод Д. Каравкиной и Вс. Розанова*

Некий князь демонов, сраженный стрелой, слетевшей с месяцеподобного лука Вишну (или Рамы, в котором воплотилась часть естества Вишну), в одной из неистовых битв того с демонами, вернулся в образе человека в круговорот перевоплощений, носил имя Равана и жил на берегу великой Ганги жизнью воинственного государя. Он и был отец Дасы. Мать Дасы умерла рано, и едва только ее преемница, женщина красивая и тщеславная, родила князю сына, как уже маленький Даса стал ей поперек дороги; вместо него, перворожденного, она мечтала увидеть собственного сына Налу восходящим на престол, сумела охладить чувства отца к Дасе и задумала при первом удобном случае убрать пасынка с дороги. Однако от одного из придворных брахманов Раваны, опытного в жертвоприношениях Васудевы, не утаился ее замысел, и умному старику удалось его расстроить. Ему было жаль мальчика, и к тому же он усмотрел в нраве маленького царевича унаследованные от матери задатки благочестия и чувства долга. Он стал оберегать Дасу, поджидая, когда представится возможность увезти его от мачехи.

Было у раджи Раваны стадо посвященных Брахме коров, их блюли в чистоте и от молока и масла их этому богу приносились частые жертвы. На лучших пастбищах страны паслись эти коровы. Однажды ко двору явился пастух священного стада, сдал масло и сообщил, что в тех местах, где они пасут коров, ожидается великая засуха, а потому они, пастухи, сговорились отогнать

стадо ближе к горам, где и в самую сушь не иссякают родники и всегда вдоволь свежего корма. Не первый год брахман Васудева знал этого пастуха как человека доброго и верного, а потому и доверился ему, и когда на следующий день маленький Даса, сын Раваны, исчез и не был найден, только Васудева и пастух знали тайну его исчезновения. Отрока Дасу пастухи увели к дальним холмам, там они нагнали медленно кочующее стадо, и Даса легко и охотно сошелся с пастухами, рос пастушонком, помогал стеречь и перегонять коров, научился доить, играл с телятами, спал в тени деревьев, пил сладкое молоко, и босые его ноги всегда были вымазаны в навозе. Ему это очень нравилось, он узнал жизнь пастухов, повадки стада, узнал лес с его деревьями и плодами, полюбил манго, дикую смокву и дерево варингу, вылавливал из зеленых омутов сладкий корень лотоса, по праздникам сплетал себе венок из красных цветов пламника, привык остерегаться диких зверей, избегать встреч с тигром, дружить с умной мангустой и веселым ежом и пережидать время больших дождей в полутемном шалаше; здесь пастушки играли в свои игры, пели гимны, плели циновки и корзины. Хотя Даса и не до конца забыл свою прежнюю родину и прежнюю жизнь, но вскоре они стали для него далеким сном.

И вот однажды, когда стадо перекочевало на новые пастбища, Даса пошел в лес, он хотел полакомиться медом. С тех пор как он впервые побывал в лесу, он очень полюбил его, а этот лес показался ему особенно красивым: словно золотые змеи, струились солнечные лучи меж листьев и ветвей, птичий щебет, крик обезьян, шепот листвы — весь лесной гомон представлялся Дасе тихо сияющим сплетением, и все запахи леса — цветов и листьев, воды и зверей, плодов и ягод, земли и мха, то терпкие, то сладкие, то бодрящие, то дурманящие, то дикие и неведомые, то родные и близкие — тоже как бы сплетались и расплетались, будто солнечные лучи. Порой в непроницаемой глубине оврага слышалось журчание ручья, над белыми зонтиками порхала бабочка с черными и желтыми крапинками на изумрудных крыльях, в синеватой глубине чащи трещал сук, глухо шуршала опавшая листва, во мраке ревел зверь или неугомная обезьяна бранилась со своими товарищами... Позабыв о меде, Даса прислушивался к пению переливчато сверкающих райских птичек, и вдруг среди густых зарослей папоротника, росшего как бы маленьким лесом в этом огромном лесу, увидел чей-то след, будто кто-то вытоптал здесь узкую тропинку. Бесшумно, соблюдая осторожность, он пошел по ней и неожиданно под огромным многоствольным деревом обнаружил шалаш, сплетенный из папоротника и похожий на островерхую палатку, а рядом — очень прямо и неподвижно сидящего на земле человека, руки которого покоились между скрещенных ног, а из под седых волос и широкого лба на землю смотрели спокойные невидящие глаза, хотя и открытые, но обращенные только вовнутрь. Даса понял: это святой муж, йог, он и раньше видел таких, — это были люди чтимые, угодные богам, почиталось за благо подносить им дары и оказывать почести. Но этот, сидевший в самоуглублении перед своим столь тщательно скрытым шалашом из папоротника так прямо и спокойно, опустив руки, полюбился мальчику особо и показался ему удивительней и почтеннее всех виденных им дотоле. Этого человека, невесомо восседавшего и своим отрешенным взглядом, казалось, все видевшего и пронизавшего, окружала некая аура святости, запретный круг достоинства, огненная волна йогической

силы, которую мальчик не смел ни преступить, ни разорвать приветствием или восклицанием. Величие и достоинство його, его облика, внутренний свет, которым светилось его лицо, сосредоточенность и железная неуязвимость всех его черт излучали волны и лучи, в средоточии которых он плавал подобно луне, и сгусток духовной силы, безмолвно сосредоточенная воля во всем его облике образовывали окрест него такой магический круг, что чувствовалось: не поднимая глаз, одним желанием, одной мыслью своей этот человек способен убить и вновь вызвать к жизни. Неподвижнее дерева, ибо ветви его все же дышат и листья колышались, неподвижно, как каменный истукан, сидел йог, и так же неподвижно, словно закованный в цепи, застыл перед ним мальчик с того мгновения, как заметил его, не в силах сойти с места, не в силах пошевелинуться и нарушить очарование. Он стоял и смотрел на його, видел солнечный блик на его плече и еще один на покоящихся руках, видел, как блики медленно передвигаются, как возникают новые, начал в изумлении понимать, что эти блики никак не связаны с йогом, да и птичий гомон вокруг, и крики обезьян в глубине леса, и мохнатая лесная пчелка, севшая аскету на лицо, понюхавшая кожу, пробежавшая по щеке, а затем подымавшаяся и улетающая,— вся многоликая жизнь леса, все это, чувствовал Даса, вес, что видит глаз, слышит ухо, все красивое и безобразное, все приятное и устрашающее — все это не имело никакого отношения к святому мужу: дождь не мог бы охладить его и досадить ему, огонь не мог его обжечь, весь окружающий мир для него лишь поверхность, лишённая всякого значения. Догадка о том, что весь мир и впрямь лишь поверхность, дуновение ветра и зыбь волны над неизведанными глубинами, возникла у засмотревшегося царевича-пастушка не мыслью, но легкой дрожью пробежала по его телу, как что-то похожее на головокружение, как чувство ужаса и грозящей опасности, а вместе с тем и как великая тоска и притягательная сила. Ибо, представилось ему, йог сквозь поверхность мира, сквозь мир поверхности погрузился в основание сущего, в тайну всех вещей, он прорвал колдовские тенета чувств, обманы света, звуков, красок, ощущений, он скинул их с себя и теперь прочно укоренился в сущностном и незыблемом. Мальчик, хотя и побывал в школе у брахманов и воспринял от них толику духовного света, понял это не разумом, и словами он ничего не смог бы сказать об этом, — он ощутил это, как в блаженный час ощущаешь близость божественного, как трепет почитания и удивления перед этим человеком, как любовь к нему, как тоску по жизни, какой, казалось, жил этот йог в своем самоуглублении. Даса стоял все на том же месте, и в памяти его, благодаря його, чудесным образом всплыло воспоминание о его княжеском и царском достоинстве, душа его трепетала, и здесь, на краю папоротниковой рощи, он не слышал ни птиц, ни шелестящей беседы деревьев, он позабыл и о лесе, и о далеком стаде — он подпал под власть волшебства и смотрел на отшельника, захваченный непостижимой тишиной и неприкосновенностью всей его фигуры, светлым покоем лица, силой и средоточием осанки, ибо старец воплощал для него служение службе своей. Сказать, потом, провел ли он возле шалаша час или два, день или неделю,— он не мог. И когда очарование исчезло, когда он бесшумно скользил по тропе через заросли папоротника, затем отыскивал путь, выведший его из леса, и наконец вновь очутился на пастбище вблизи от стада — он проделал это, не сознавая, что делает, и душа его все еще была зачарована, и

пробудился он лишь, когда кто-то из пастухов его окликнул. Пастух сразу набросился на него с бранью за столь долгое отсутствие, но Даса только удивленно посмотрел на него широко раскрытыми глазами, и пастух умолк, он был сражен столь необычным и отчужденным взглядом и всем торжественным видом мальчика. Немного спустя он спросил:

— Где же это ты был, дорогой? Может, бога какого увидел или демона повстречал?

— Я был в лесу,— ответил Даса,— меня потянуло туда, я хотел собрать меду. А потом увидел там человека, отшельника, и забыл обо всем, а он сидел, задумчивый такой, или, может быть, это он молился, а я, как увидел его светящееся лицо, так и застыл и долго-долго не мог оторвать глаз. Можно, я вечером опять пойду к нему и отнесу ему что-нибудь,— он святой человек.

— Так и сделай,— ответил пастух,— отнеси ему молока и масла: святых надо чтить и надо им подавать.

— А как мне называть его?

— Никак. Поклонись ему, да поставь, что принес, вот и все.

Так Даса и сделал. Он довольно долго плутал, прежде чем снова нашел то место. Перед шалашом никого не было, а войти Даса не посмел, и он поставил все, что принес, прямо на землю перед входом и удалился. Каждый вечер, покамест они пасли стадо в тех краях, Даса относил дары к шалашу, а однажды побывал там днем и вновь увидел отшельника в состоянии самоуглубления; оцепенев, он опять не устоял перед соблазном воспринять луч от сияния, излучаемого благостной силой святого. И еще долго после того, как они покинули этот край и Даса помогал перегонять стадо на новые пастбища, он не мог забыть всего пережитого в лесу, а порою, как это часто бывает с мальчиками, оставаясь один, он предавался мечтам и видел себя на месте отшельника и мудрого йога. Но мало-помалу воспоминания и мечты поблекли, и блекли они тем быстрее, чем больше Даса подрастал, становился сильным юношей, с радостной жадной отдававшимся играм и состязаниям со сверстниками. Но в глубине его души еще жил какой-то отблеск, смутная догадка: наука йогов, величие ее и мощь вернут ему его утерянное княжеское достоинство, и он опять станет царевичем. Однажды, когда они пасли стадо неподалеку от города, пастух, вернувшись из него, рассказал, что горожане готовятся к большому празднику: престарелый князь Равана совсем лишился своей былой силы, одряхлел и назначил день, когда сын его Нала заступит его место и будет провозглашен государем. Дасе захотелось побывать на празднике, посмотреть город, о котором с детских лет он не сохранил почти никаких воспоминаний, послушать музыку, поглазеть на праздничное шествие и состязания благородных, хотелось хоть раз побывать в том неведомом мире горожан и власть имущих, о котором так часто рассказывается в легендах и сказаниях и о котором он знал — или это тоже было легендой, сказкой, а то и того меньше,— что когда-то в незапамятные времена это был его мир. Пастухи получили приказ доставить ко двору масло для праздничных

жертвоприношений, и, к радости Дасы, старший пастух назначил его и двух других для поездки в город.

Накануне праздника они прибыли ко двору и сдали масло брахману Васудеве: именно он был главным устройтелем жертвоприношений, однако юношу он, конечно, не узнал. С жадностью пастухи приняли участие в празднестве, видели, как рано утром под руководством брахмана начался обряд, как золотисто-желтое масло предали огню, как пламя вознеслось к небу, ввысь, в бесконечное, а напоенный жиром дым обратился благовонием для трижды десяти богов. Они видели шествие слонов с золочеными балдахинами, под которыми восседали воины, видели украшенную цветами княжескую колесницу и в ней молодого раджу Налу, они слышали оглушительную музыку барабанов. Все было великолепно, пышно и немного смешно, во всяком случае, так это казалось юному Дасе; опьяненный и оглушенный непривычным шумом, грохотом колесниц, разукрашенными конями, всей этой роскошью и хвастливой расточительностью, Даса пришел в восторг от танцовщиц, танцевавших перед княжеской колесницей, стройных и гибких, как стебли лотоса, восхищался таким огромным и красивым городом, и все же наперекор этому опьянению, этой радости, смотрел на все трезвым умом пастуха, который в душе презирает горожан. Но о том, что на самом-то деле он был перворожденным, что сейчас перед ним его сводного брата Налу, которого он совсем уже не помнил, помазали и возвели в государи и это Налу чествовали, а на самом-то деле он, Даса, должен был ехать в украшенной цветами колеснице, — нет, об этом он не думал. Однако молодой раджа очень ему не понравился, он показался ему глупым, злым и вместе с тем изнеженным, невыносимо тщеславным в своем раздутом самопоклонении, и он, Даса, не прочь был бы сыграть шутку с этим мальчишкой, разыгрывавшим из себя государя, да и проучить его было бы хорошо, но такого случая не представилось, и Даса скоро забыл об этом, — уж очень много было тут на что посмотреть, что стоило послушать, чему посмеяться и порадоваться. Горожанки оказались очень красивыми, дерзкими были их взгляды, и походка, и речь; все три пастуха в тот день понаслушались такого, что еще долго звенело у них в ушах. Правда, женщины заговаривали с ними насмешливо, — ведь горожанин относится к пастуху, как и тот к горожанину, с презреньем, — но все же красивые и сильные, выросшие на молоке и сыре, почти весь год живущие под открытым небом, юноши очень понравились горожанкам. С праздника Даса вернулся уже не юношей, а мужчиной, стал бегать за девушками, и не раз ему приходилось кулаками отстаивать свои права перед другими. Не много прошло времени, как они перекочевали на новое место, где были обширные луга и много озер, заросших тростником и бамбуком. Здесь Даса встретил девушку, звали ее Правати, и вспылал к красавице безумной любовью. Она была дочерью арендатора, и Даса так сильно полюбил ее, что все позабыл и забросил, лишь бы добиться ее любви. А когда некоторое время спустя пастухи погнали стадо дальше, он не внял их предостережениям и советам, а противившись с ними, да и со всей пастушеской жизнью, которая ему до этого нравилась, осел на земле и достиг своего: Правати отдала ему в жены. Он убирал просо и рис с полей своего тестя, помогал на мельнице и в лесу, построил своей жене бамбуковую хижину, обмазал ее глиной и держал Правати взаперти. Какой необоримой должна быть сила, что

заставляет молодого человека отказаться от всех прежних радостей, товарищей и привычек, изменить жизнь и взять на себя незавидную роль зятя среди чужих ему людей! Столь велика была красота Правати, столь велико искустительное обещание радостей любви, излучаемое ее лицом, ее телом, что Даса ослеп для всего другого и, весь отдавшись этой женщине, впрямь узнал в ее объятиях великое счастье. Рассказывают, будто некоторые боги и святые, околдованные прельстительной женщиной, забывали обо всем, слившись с нею, и не выпускали ее из своих объятий дни, месяцы и годы, всецело предавшись упоению, отрешившись от всего. Вот такой-то желал себе свою судьбу Даса, такой—свою любовь. Но ему было суждено другое, и счастье его длилось недолго. Оно длилось не больше года, да и этот год не весь был наполнен одним только счастьем — и для другого оставалось время: для докучливых притязаний тестя, для придирок шурьев, для причуд молодой жены. Но всякий раз, как он был с ней на ложе, все это забывалось и обращалось в ничто — так притягивала его ее колдовская улыбка, так сладко было ему ласкать ее гибкие члены, так расцветал всеми своими цветами, маня прохладой и ароматом, сад вожделения у ее молодого тела.

Счастье Дасы не длилось и года, как в тех местах возникло беспокойство и тревога. Явились верховые гонцы и возвестили о прибытии молодого раджи, а за гонцами прибыл и сам раджа Нала, с конями, охотниками и всем обозом, чтобы поохотиться в тех местах; слуги разбили палатки, кони ржали, рога трубили. Даса работал в поле, потом на мельнице, всячески избегая встреч с охотниками и людьми раджи. Как-то вернувшись в хижину и не застав в ней жены, которой он в эти дни строго-настрого наказал не выходить, он почувствовал укол в сердце и понял, что приближается беда. Он тут же поспешил к тестю, но и там не нашел Правати, никто ее не видел. Сердце Дасы сжалось еще мучительней. Он обошел огород, поля,— день, затем другой только и делал, что бегал между своей хижинкой и домом тестя, подкарауливал на пашне, спускался в колодезь, молился, выкрикивал ее имя, уговаривал, проклинал, выискивал ее следы. Наконец самый младший из шурьев, мальчишка еще, рассказал ему, что Правати — у раджи, она живет у него в палатке, ее видели скачущей на его коне. Захватив с собой пращу, оставшуюся у него еще с тех пор, когда он был пастухом, Даса отправился к лагерю Налы и стал выжидать. Как только он замечал, что княжеская палатка никем не охранялась, будь то днем или ночью, он подкрадывался к ней, но всякий раз показывалась стража, и он вынужден был отступать. Спрятавшись в ветвях большого дерева, он следил за палаткой и однажды увидел раджу, лицо которого было ему знакомо и ненавистно еще с большого праздника в городе; раджа вскочил на коня и ускакал, а когда он через несколько часов вернулся, спрыгнул на землю и откинул полог палатки, Даса успел заметить молодую женщину, приветствовавшую вернувшегося. Узнав в этой женщине свою жену, Правати, Даса чуть было не упал с дерева. Теперь-то он удостоверился, и на сердце его легла еще большая тяжесть. И если счастье его любви с Правати было велико, то не менее велико, если не больше, были теперь горе, бешенство, чувство утраты и оскорбления, нахлынувшие на него. Так оно и бывает, когда человек сосредоточивает всю свою любовь на чем-нибудь одном, а утратит это одно — все у него рушится, и остается он один среди развалин.

Целый день и целую ночь бродил Даса среди окрестных лесов, и стоило ему остановиться и передохнуть, как великое горе его сердца гнало его, замученного, вперед: он не мог не двигаться, он должен был куда-то бежать, хоть на край света, хоть прочь из этой жизни, ибо она утратила для него свою прелесть и всякую цену. И все же он никуда не убежал, а кружил и кружил поблизости от места, где его застигло горе,— около своей хижины, мельницы, пашни и княжеской палатки. В конце концов он вновь спрятался в листву дерева, высившегося над палаткой, сидел и подстерегал, исполненный жажды и горечи, подобный голодному хищнику, притаившемуся в засаде, покуда не настал тот миг, ради которого он и копил все свои силы: раджа вышел из палатки. Неслышно Даса соскользнул на землю, разогнал пращу и камнем попал прямо в лоб ненавистного: Нала упал и остался лежать недвижимым. Кругом — никого, бурю сладостной мести, бушевавшую в груди Дасы, на миг сменила странная и пугающая глубокая тишина. И прежде чем около убитого засуетились слуги и поднялся шум, Даса кустами выбрался из лагеря и скрылся в зарослях бамбука, росшего в низине. В то время, когда он спускался с дерева, когда, словно в опьянении, размахивал пращей, посылая смерть, он чувствовал, будто он расстается и со своей жизнью, будто это последние силы уходят от него, будто вместе с камнем, несущим смерть, он и сам летит в пропасть, и он был согласен погибнуть, лишь бы ненавистный враг хоть на миг погиб бы раньше его. Но теперь, когда вслед за деянием столь неожиданно наступил миг тишины, жажда жизни, о которой он до этого и не подозревал, увела его от края разверстой пропасти, а всеми его членами, всеми его помыслами овладел некий первичный инстинкт, заставивший его ускользнуть в лес, в бамбуковую рощу, приказавший пуститься в бегство, стать невидимым. И только уже скрывшись, избежав первой опасности, он осознал, что произошло. И когда он, измученный, задыхающийся, припал к земле, опьянение стало рассеиваться, уступив место трезвой мысли, и он прежде всего почувствовал разочарование и отвращение: как же сам-то он остался жив? Но стоило дыханию его успокоиться и головокружению, вызванному чрезмерной усталостью, исчезнуть, как это противное и расслабляющее чувство сменилось упрямой жаждой жизни, и вновь к нему вернулась дикая радость от содеянного. Вскоре неподалеку от него поднялась тревога, начались поиски, погоня за убийцей, и длились они весь день; его не нашли только потому, что он пролежал все время, не шелохнувшись, в зарослях, а искавшие не были расположены рыскать в самой глубине чащи, боясь тигра. Даса заснул ненадолго, затем снова лежал, весь обратившись в слух, пополз дальше, опять дал себе роздых, а на третий день уже перебрался через гряду холмов и без усталости продолжал свое бегство в горы.

Бездомная жизнь заставила Дасу побывать в самых разных краях, она ожесточила его, сделала равнодушной, но и умней, умиротворенней, и все же ночами ему снилась Правати, его минувшее счастье с ней или то, что он так называл; часто он видел во сне свое бегство и погоню — страшные тягостные сны. Например, такой: он бежит через лес, за ним погоня, слышна барабанная дробь, трубят трубы, а он, пробираясь через чащу по кочкам, через колючие заросли, по рушащимся мосткам, что-то несет, какую-то поклажу, что-то

спеленутое, укрытое, неведомое, о чем только и знает, что оно очень дорого ему и ни в коем случае не должно попасть в чужие руки, нечто бесценное и хрупкое, какое-то сокровище, быть может, ворованную добычу, завернутую в плат, в яркую ткань с красными и голубыми узорами, такими же, как на праздничном платье Правати,— и с этой поклажей, сокровищем или добычей, он бежит, подвергаясь опасности, мучимый страхами, прокрадывается под нависшими ветвями и скалами, мимо шипящих змей, а то и на головокружительной высоте по шатким мосткам через бурные реки, полные крокодилов, и под конец, затравленный и измученный, останавливается, тербит тесемки узлов, развязывает один за другим, разворачивает ткань, и сокровище, которое он достает, оказывается собственной головой.

Он жил в бесконечных странствиях, скрываясь, не то чтобы по-настоящему убягая от людей, но избегая их. И вот однажды странствия привели его в зеленый холмистый край, показавшийся ему таким прекрасным и радостным, как будто все здесь приветствовало его, словно старого знакомого: он узнавал то поле в долине, где колыхались цветущие травы, то тучные луга — все напоминало ему веселое и невинное время, когда он не знал любви и ревности, злости и мести. Это был тот край, где когда-то с товарищами он пас коров: лучшее время его юности глядело на него из далеких глубин невозвратного. Сладкой печалью отозвалось сердце Дасы на приветствовавшие его голоса: ласкового ветерка, шелестевшего в серебристой листве ивы, быстрого ручья, напевавшего такую задорную и веселую походную песню, на звонкие голоса птиц и басовитое жужжание золотых шмелей. Все здесь звучало прибежищем, родиной, и для него, привыкшего к бродячей жизни пастухов, еще ни один край не казался таким родным.

Сопровождаемый этими голосами, звучащими уже у него в душе, влекомый ими, с чувствами, похожими на чувства возвратившегося на родину, бродил он по землям этой приветливой страны, впервые за многие страшные месяцы не как чужой, не как гонимый, осужденный на смерть беглец, а с открытым сердцем, ни о чем не думая, ничего не желая, весь отдавшись тихой радости настоящего, впитывая все, что окружало его сейчас, с глубоким чувством благодарности и некоторого удивления перед этим новым, непривычным, впервые и с восхищением пережитым состоянием души, перед этой открытостью без желаний, этой веселостью без страстей, перед этой радостной и благодарной готовностью к созерцанию. С зеленых лугов его повлекло в лес, под сень деревьев, в забрызганный солнечными пятнами сумрак; чувство возвращения на родину там еще усилилось и повело его по тропинкам, которые ноги его, казалось, сами находили, покамест он, пробравшись через заросли папоротника, этот маленький лес, росший в большом лесу, не увидел шалаш, а перед ним сидящего недвижимо йога — того самого, за которым он когда-то подсматривал и которому носил молоко.

Даса стоял, словно пробуждаясь от сна. Здесь все было как прежде, здесь время не шло, здесь никто не убивал и не страдал; здесь жизнь и время застыли, подобно кристаллу, в незыблемом покое. Он смотрел на старика, и в его сердце возвращались те же восхищение, любовь и томление, какие он ощутил здесь,

увидев его в первый раз. Он смотрел на шалаш и думал, что до начала больших дождей его следовало бы немного поправить. Затем он отважился осторожными шагами приблизиться к шалашу, вошел в него, огляделся и увидел, что в нем почти ничего не было: ложе из листвы, высушенная тыква с водой и пустая плетеная котомка. Он взял котомку, вышел и принялся искать в лесу что-нибудь съестное, нашел несколько плодов и сладких корней, вернулся, взял тыкву и принес свежей воды. Вот он и сделал то, что здесь надо было сделать. А как мало нужно человеку, чтобы жить! Даса сел на землю и скоро погрузился в мечты. Он был доволен этим молчаливым, мечтательным покоем в лесу: он был доволен голосом в его душе, которым привел его сюда, где он еще юношей ощутил нечто похожее на мир, счастье и родину.

Так он и остался у молчаливого. Менял подстилку из листьев, собирал в лесу плоды и корни, потом поправил старый шалаш и неподалеку начал строить новый, уже для себя. Казалось, старик терпит его, однако заметил ли он его вообще, понять было никак нельзя. Вставая после самопогружения, йог уходил в шалаш и ложился спать, либо принимал немного пищи, или гулял по лесу. Даса жил подле досточтимого, как слуга подле великого господина, вернее даже, как домашнее животное, прирученная птица или мангуста живет подле людей, почти незамечаемая и приносящая какую-то пользу. Дасе, который был в бегах и долго жил, таясь, с нечистой совестью, неуверенный в завтрашнем дне, ежеминутно ожидая погоню, эта спокойная жизнь, легкий труд и соседство человека, казалось бы, не замечавшего его, некоторое время были благодетельны: он спал, не видя страшных снов, а выпадали дни, когда он ни разу и не вспоминал о случившемся. О будущем он не думал, а если и возникали у него желания или тоска по чему-нибудь, так это о том, чтобы остаться здесь, чтобы йог посвятил его в тайны отшельнической жизни, чтобы он и сам стал одним из йогов, приобщился бы к их горделивой невозмутимости. Он стал подражать позе досточтимого, пытался, скрестив ноги, как он, сидеть неподвижно, как и он, созерцать неведомый мир, смотреть за грани действительности и не воспринимать того, что находится в непосредственной близости. При этом он быстро уставал, затекали ноги, ныла спина, досаждали комары или вдруг начинала зудеть кожа, это заставляло его ерзать, чесаться и в конце концов вставать. Но бывало и так, что он чувствовал нечто другое, похожее на опустошение, на необычайную легкость, и словно парил, как парят во сне: стоит только чуть-чуть оттолкнуться от земли, и ты уже летишь, будто пушок. В такие мгновения его осеняло предчувствие того, как это будет, когда он все время станет так парить, когда тело и душа скинут свою тяжесть и будут возноситься в дыхании большой, чистой и солнечной жизни, возвысившись и растворившись в потустороннем, безвременном и непреходящем. Однако мгновения эти так и оставались мгновениями и предчувствия — только предчувствиями. Разочарованный, вновь возвращаясь в свою обычную жизнь, он думал о том, как хорошо было бы, если бы мастер взял его в ученики, посвятил в свои упражнения, в тайну своего искусства и сделал бы из него йога. Но как этого достичь? Казалось, отшельник никогда и не увидит его, как видят глазами, никогда и словом с ним не перемолвится. Казалось, дни и часы, лес и шалаш — все это было для него по другую сторону, как и он сам был по другую сторону слов.

И все же однажды он произнес одно слово. Для Дасы опять настало такое время, когда он ночь за ночью видел страшные сны, то завораживающе сладкие, то завораживающе страшные, то Правати являлась ему, то он вновь переживал все страхи беглеца. И днем он не добивался никаких успехов, долгого неподвижного покоя и углубления в себя он не выдерживал, думал о женщинах, о любви и подолгу без всякого дела бродил по лесу. Быть может, была виновата погода: стояла духота, налетали порывы горячего ветра... И вот снова наступил один из таких дурных дней, когда звенели комары и накануне ночью Даса опять увидел сон, гнетущий и страшный, о чем, собственно, он уже не помнил, но теперь наяву сон показался Дасе недозволенным, жалким и постыдным возвращением в прежнюю жизнь, на ранние ее ступени. Весь этот день он топтался вокруг шалаша, встревоженный и мрачный, работа валилась из рук, несколько раз он садился, желая упражняться в самоуглублении, но его тут же охватывала какая-то лихорадочная тревога, руки и ноги дергались, будто тысячи муравьев ползали по его телу, в затылке горело, и минуты он не выдерживал подобного состояния; сконфуженный и пристыженный, он косился на старца, сидевшего в совершенной позе, глаза обращены вовнутрь, а сияющее отрешенной радостью лицо покачивается словно цветок на стебельке.

Когда йог поднялся и направил свои стопы к шалашу, Даса, давно уже подстерегавший этот миг, заступил ему дорогу и с отчаянием гонимого страхом сказал:

— Прости, досточтимый, что я вторгся в твою тишину. Я ищу мира, ищу покоя. Я хотел бы жить, как ты, и стать, как ты. Я еще молод, но изведаль уже много горя, судьба жестоко обошлась со мной. Я родился князем, но меня изгнали к пастухам, и я вырос пастухом, сильным и веселым, как молодой бычок, и я был чист сердцем. Потом я узнал женщин, и когда увидел самую красивую из них, я всю свою жизнь подчинил ей и умер бы, не пойдя она за меня. Я бросил товарищей-пастухов, посватался к Правати и стал зятем. Я служил эту службу, тяжело работал, но ведь Правати была моей, любила меня, или я думал, что она меня любит, и каждый вечер я возвращался в ее объятия, и она прижимала меня к своему сердцу. И вдруг в наши края приходит раджа, тот самый, из-за которого меня еще ребенком изгнали, пришел и отнял мою Правати, и я увидел Правати в его объятиях. Это была самая страшная боль, какую я испытал, и она преобразила меня и всю мою жизнь. Я убил раджу, да, я убил и стал жить жизнью преступника, беглеца, меня преследовали, ни часу я не был спокоен за свою жизнь, пока не добрался сюда. Я человек безрассудный, о, досточтимый, я убийца, быть может, когда-нибудь меня схватят и четвертуют. Не могу я больше жить этой ужасной жизнью, я хочу избавиться от нее.

Йог невозмутимо выслушал эти излияния, прикрыв глаза. Теперь он раскрыл их и устремил свой взгляд на лицо Дасы, ясный, пронизывающий, почти невыносимо твердый, сосредоточенный и лучащийся взгляд и, в то время как он рассматривал лицо Дасы и размышлял над торопливым рассказом, его рот медленно искривился для улыбки и для смеха и с беззвучным смехом он затряс головой и повторял, смеясь:

— Майя, майя!

Вконец смущенный и пристыженный, Даса так и застыл, а старец поднялся и перед трапезой погулял немного по узкой тропе между зарослями папоротника, словно выдерживая такт, размеренными шагами прошелся взад и вперед и, сделав так шагов сто, вернулся в свой шалаш, и лицо его снова стало таким, каким оно было всегда, обращенным куда-то еще, а не к миру явлений. Что же это была за улыбка, показавшаяся на этом всегда таком неподвижном лице в ответ на все сказанные Дасой слова? Придется ему поломать над этим голову. Был ли доброжелательным или издевательским смех, так ужасно прозвучавший в миг отчаянного признания Дасы, его мольбы, был ли он утешительным или осуждающим, божественным или демоническим? Был ли он циничным хихиканьем старика, ничего уже не способного принимать всерьез, или же смехом мудреца над чужой глупостью? Означал ли он отказ, прощение или приказание удалиться? И, может быть, это был совет, предложение Дасе подражать и тоже смеяться? Никак он не мог уяснить себе этого смеха. И ночью, долго лежа без сна, он все думал об этом смехе, в который для старца превратилась вся жизнь, все счастье и все горе Дасы. С мыслью об этом смехе Даса не расставался, как не расстанется с сухим и жестким корнем, его грызут потому, что он что-то еще напоминает, чем-то еще пахнет, и точно так же Даса цеплялся за слово, которое старик выкрикнул на такой высокой ноте, так радостно и с таким непостижимым удовольствием: «Майя, майя!» Что именно означало оно, он наполовину знал, наполовину догадывался, да и то, как смеющийся старец выкрикнул его, позволяло догадываться о смысле этого слова. Майя — это была жизнь Дасы, юность Дасы, сладчайшее счастье и горькое горе его, майя — это была прекрасная Правати, майя — это любовь и ее радости, майя — это вся жизнь. Это была жизнь Дасы и всех людей, какой ее видел йог, и было в ней для него что-то детское, скоморошье, какой-то театр, игра воображения, Ничто в пестрой оболочке, мыльный пузырь, что-то, над чем с удовольствием можно посмеяться, но к чему вместе с тем следует отнестись презрительно и что уже ни в коем случае нельзя принимать всерьез.

Но если для старого йога этот смех и это его словечко «майя» означали, что о жизни Дасы сказано все, то о самом Дасе этого никак нельзя было утверждать, и как бы он ни желал превратиться в смеющегося йога, как бы ни желал не видеть в своей жизни ничего, кроме майи, в нем, начиная с тех тревожных дней и ночей, вновь пробудилось и ожило все, о чем он, изнеможенный бегством, найдя здесь прибежище, казалось бы, давно забыл. Надежды овладеть искусством йогов, а то и сравниться в нем со старцем было у него куда как мало. Но тогда какой же смысл оставаться в этом лесу? Он был для него прибежищем, здесь он немного отдышался, накопил сил, немного пришел в себя, и это было ценно, это было кое-что. А вдруг тем временем там, в стране, уже никто не гонится за убийцей князя, и он, Даса, ничего не опасаясь, может продолжать свой путь? Так он и решил сделать, на следующий же день отправиться в дорогу: мир ведь велик, нечего ему прятаться тут, как в норе. Решение это немного успокоило его.

Даса намеревался уйти рано утром, однако, проснувшись после долгого сна, увидел, что солнце поднялось высоко и старец уже начал свое самопогружение, не простившись же Даса не хотел уходить, да и надо было еще кое о чем

спросить йога. Даса ждал час, ждал другой, покуда старец не поднялся, не расправил члены и не стал прохаживаться взад и вперед. Даса заступил ему дорогу, поклонился и до тех пор не отступал, пока ног не поднял глаза и не посмотрел на него.

— Учитель! — смиренно обратился Даса к нему.— Я пойду своей дорогой и не буду больше нарушать твой покой. Но еще один раз, досточтимый, позволь мне обратиться к тебе с просьбой. Когда я рассказал тебе о своей жизни, ты рассмеялся и воскликнул «майя!». Умоляю, скажи мне что-нибудь о майе.

Старик направился к шалашу, взглядом приказав Дасе следовать за ним. Там он взял высушенную тыкву с водой, подал ее Дасе и велел ему вымыть руки. Даса послушно выполнил приказание. Тогда учитель выплеснул остаток воды в папоротник, подал пустой сосуд молодому человеку и велел принести свежей воды. Даса послушно отправился за водой. По дороге ему стало грустно: вот он в последний раз спускается по узкой тропе к источнику, в последний раз подносит легкий сосуд со стертymi от рук краями к небольшому зеркальцу воды, в котором отражаются и стоножник, и кроны дерев, и разбившаяся на светлые блики сладостная голубизна небес, а когда он наклонился, то увидел и свое собственное лицо в буроватом сумраке. Медленно и задумчиво Даса опустил сосуд в воду и почувствовал неуверенность, он не мог понять, почему у него так странно на душе, почему, раз уж он решился вновь пуститься в путь, ему причинило такую боль то, что йог не пригласил его остаться, быть может, остаться навсегда. Он присел на корточках возле родника, зачерпнул немного воды, медленно, боясь расплескать, поднялся с сосудом в руках и хотел было направиться к шалашу, как неожиданно услышал странный звук, воспринятый им с восторгом и вместе с ужасом,— это был голос, который он не раз слышал во сне и который с такой горчайшей тоской мечтал услышать наяву. Как сладок он был, как сладко, по-детски нежно звучал, как влюбленно призывал в лесном сумраке,— сердце Дасы замерло от страха и желаний. Это был голос Правати, голос его жены. «Даса»,— манила она. Все еще не веря, он оглянулся с сосудом в руках, и вдруг она появилась, вышла из-за деревьев, стройная, гибкая, длинноногая Правати, возлюбленная, незабвенная, неверная. Он отшвырнул сосуд и бросился к ней. Улыбаясь, чуть застыдившись, она стояла перед ним, глядя на него своими огромными глазами лани, и теперь вблизи он заметил, что на ней были сандалии из красной кожи и красивое, богатое платье, на руке золотой браслет, а в черных волосах — сверкающие всеми цветами драгоценные камни. Даса отпрянул. Неужели она все еще княжеская шлюха? Но разве он не убил этого Налу? А она все еще носит его подарки. Да как она смела с этими браслетами и камнями выйти к нему и произнести его имя!

Но она была прекраснее, чем когда-либо, и прежде чем потребовать от нее ответа, он должен был обнять ее, зарыться лбом в ее волосы, приподнять ее лицо, поцеловать в губы, и при этом он чувствовал, как к нему вернулось все, что когда-то принадлежало ему: счастье, любовь, вожделение, восторг, страсть. И вот в мыслях своих он уже далеко от этого места и старого отшельника, лес, шалаш, одиночество, медитация, старый йог— все это отброшено, превратилось в ничто и забыто; даже о сосуде, который он должен был отнести старику, наполнив его водой, он забыл. Тыква так и осталась лежать у родника, а

Даса уже спешил с Правати к опушке леса. Торопливо, сбиваясь, она рассказывала ему, как она попала сюда, что привело ее в этот лес.

Удивителен был ее рассказ, удивителен, непостижим и похож на сказку, и словно в сказку вошел Даса в свою новую жизнь. Не только Правати была снова с ним, не только ненавистный Нала был мертв и поиски убийцы давно прекращены, но сверх того его, Дасу, княжеского сына, выросшего среди пастухов, провозгласили в столице законным наследником и государем; старый пастух и старый брахман рассказали почти всеми забытую историю об изгнании Дасы, и теперь того самого человека, которого некоторое время все искали как убийцу раджи Нала, чтобы пытать и казнить, теперь его принялись искать с еще большим рвением, чтобы провозгласить новым раджей и торжественно ввести в город и во дворец отца. Все это походило на сон, и самым приятным для Дасы было то, что из многочисленных гонцов, рыскавших по всей стране, Правати первая нашла и приветствовала его.

На опушке леса они увидели палатки, от них тянуло дымом и жареным мясом. Слуги встретили Правати громкими возгласами, а когда она сказала, что это — Даса, ее супруг, тут же был устроен большой праздник. Среди спутников Правати был человек, который давно когда-то вместе с Дасой пас священных коров, он-то и привел Правати и всех остальных сюда, в этот край, где некогда протекала прежняя жизнь Дасы. Узнав Дасу, пастух рассмеялся от радости, бросился было к нему и хотел хлопнуть по плечу или обнять, но спохватился: товарищ-то стал теперь раджей, и пастух так и застыл на полпути, затем медленно и почтительно приблизился и приветствовал Дасу низким поклоном. Даса поднял его, заключил в объятия, ласково назвал по имени и спросил, что ему подарить. Пастух попросил себе телку, и ему выдали трех из лучшей породы. Новому князю представляли все новых и новых людей: чиновников, охотников, придворных брахманов, и он принимал их приветствия как нечто должное; затем подали кушанья, загремели барабаны, послышались звуки цитры и флейты, однако весь этот шум, вся эта роскошь представлялись Дасе как бы во сне, он не мог поверить в это, и явью для него была только Правати, его молодая жена, которую он держал в своих объятиях. Небольшими переходами шествие приближалось к городу, вперед были высланы гонцы, которые и сообщили радостную весть о том, что нашли наконец молодого раджу и он скоро прибудет в город, а когда Даса издали увидел городские стены, оттуда понеслись звуки гонгов, барабанов и навстречу торжественно вышли брахманы в белых одеждах. Во главе их шествовал преемник того Васудевы, который лет двадцать тому назад отправил Дасу к пастухам и только недавно умер. Они приветствовали его, пели гимны, а перед дворцом, куда направилось шествие, разложили огромные жертвенные костры. Во дворце, где теперь предстояло жить Дасе, его встретили новыми приветствиями, раздались хвалебные песнопения, бесконечные здравицы. До глубокой ночи продолжалось празднество.

Ежедневно Дасу обучали два брахмана, и он очень скоро постиг необходимые науки, присутствовал при жертвоприношениях, судил и овладевал воинским и рыцарским искусством. Брахман Гопала ввел его в политические

дела, рассказав, каковы его права, права его рода и его наследников, и какие у него враги. Это была прежде всего мать Налы, та самая, которая когда-то лишила царевича Дасу всех прав, а хотела лишить и жизни, теперь же должна была ненавидеть его как убийцу своего сына. Она бежала под покровительство соседнего князя, по имени Говинда, жила в его дворце, а сам Говинда и его род издавна слыли опасными врагами, они воевали еще с предками Дасы, требуя уступки некоторых земель его княжества. Другой сосед, южный князь Гайпали, состоял в дружбе с отцом Дасы и неоднократно выказывал свою неприязнь к Нале; посему важной обязанностью почиталось побывать у него в ближайшее время, поднести ему дары и пригласить на следующую же охоту.

Госпожа Правати быстро освоилась со своим высоким положением, и когда в богатых одежках, украшенная драгоценностями, во всей красе она выступала рядом со своим высокородным супругом, то казалась ничуть не менее благородного происхождения. Счастлива была их любовь и длилась многие годы, и счастье придавало им некий блеск и сияние, как будто они были любимцами богов, и народ уважал и любил их. А когда после долгих напрасных ожиданий Правати родила наконец Дасе сына, названного им в честь отца Раваной, счастье его стало полным, и с тех пор все, чем он владел — земля, власть, дома, хозяйственные постройки, скотные дворы и самый скот, — приобрело в его глазах еще большее значение и важность, засверкало и повысилось в цене: все эти владения радовали его, ибо они служили Правати, наряжали и украшали ее, но теперь они стали еще прекрасней, еще радостней и важней, ибо предназначались в наследство сыну, Раване, на них зиждилось его будущее счастье.

Если Правати больше всего радости доставляли празднества, шествия, роскошь и богатство одежд, украшений, многолюдность свиты, то Даса всем этим радостям предпочитал сад, где он велел посадить редкие и дорогие деревья и цветы, завел попугаев и других пестрых птиц; кормить их и болтать с ними стало ежедневной привычкой. Радовали его и занятия науками, благодарный ученик брахманов, он выучил много гимнов и речений, овладел искусством читать и писать, стал держать при себе писца, знавшего, как приготавливать пальмовый лист для письма, и постепенно под его заботливым попечительством была создана небольшая библиотека. В ней-то среди книг, в небольшом роскошно отделанном покое со стенами из благородного дерева, украшенными резными фигурами, частью позолоченными и представлявшими жизнь богов, он слушал споры приглашенных брахманов, лучших из лучших ученых и мыслителей-жрецов о священных делах, о сотворении мира и о майе великого Вишну, о святых Ведах, о силе жертвоприношений и еще большем могуществе аскезы, благодаря которому смертный человек делается способным нагонять страх даже на богов. Брахманы, убедительнее всех выступавшие в диспутах, щедро вознаграждались дарами, и кое-кто из них в награду за победу в споре уводил с собой хорошую корову. Было что-то смешное и трогательное в том, как ученые мужи, только что цитировавшие стихи из Вед и мудро рассуждавшие о них, превосходно разбиравшиеся в созвездиях, морях и океанах, гордые и надутые, расходились по домам со своими наградами, а то и затевали из-за них перебранку друг с другом.

Да и вообще радже Дасе, с его счастьем, богатством, садом, книгами, все связанное с жизнью и человеческой природой время от времени представлялось странным, сомнительным, одновременно трогательным и смешным, как те мудрые тщеславные брахманы, одновременно светлым и темным, желанным и презренным. Наслаждался ли он цветком логоса на прудах своего сада, переливом красок в оперении павлинов, фазанов и удонов, позолоченной резьбой на стенах дворца — все это иногда представлялось ему то божественным и как бы пронизанным теплом вечной жизни, а иногда или даже одновременно он ощущал во всем этом нечто ненастоящее, ненадежное, сомнительное, какую-то тягу к бренности и исчезновению, готовность к возврату в безобразное, в хаос. Ведь и он сам, князь Даса, был царевичем, а стал пастухом, убийцей и бродягой, а потом опять возвысился в князья, не понимая, какие силы вели его по этой стезе, не ведая ни завтрашнего, ни послезавтрашнего дня; так и вся обманчивая игра жизни есть повсюду одновременно возвышенное и низкое, вечное и тленное, великое и смешное. Даже она, многолюбимая, даже прекрасная Правати порой на несколько мгновений казалась ему лишенной всякого волшебства, смешной: слишком много на ее руках было браслетов, слишком много гордыни и торжества во взоре, тщания о достоинстве походки.

Но еще больше, чем сад и книги, Даса любил Равану, сыночка своего, воплощение любви своей, цель жизни, предмет его ласки и забот — нежного и красивого ребенка, принца крови, с глазами лани, как у матери, склонного к задумчивости и мечтаньям, как отец. Порой, когда малыш, сидя на ковре и чуть подняв брови, глядел тихим, отсутствующим взглядом на драгоценный камень, резную игрушку, или пестрое перышко, или, бегая по саду, вдруг застывал перед каким-нибудь причудливым деревом, Дасе казалось, что он похож на него. А как сильно он его любил, Даса понял только, когда впервые вынужден был расстаться с ним на неопределенное время. Ко двору прибыл гонец из тех мест, где княжество Дасы соседствовало с княжеством Говинды, и сообщил, что люди Говинды напали на земли Дасы, угнали скот, нескольких жителей захватили в плен и увели с собой. Даса тотчас же собрался, приказал начальнику личной стражи и нескольким десяткам верховых следовать за ним и пустился в погоню за разбойниками; но в тот миг, когда перед отъездом он взял на руки и поцеловал сына, любовь в сердце его разгорелась жгучей болью. И эта жгучая боль, поразившая и озадачившая его с неожиданной силой, словно напоминание, пришедшее из неведомых глубин, стала чем-то осознанным и понятным в то время, когда он спешил к рубежам своего княжества. В пути его занимали размышления о том, по какой причине он так спешно и решительно скачет на коне в такую даль, какая сила заставила его поступить именно так, а не иначе. Он долго думал и наконец понял, что в глубине души ему безразлично и не может причинить боли, угнал ли кто-нибудь на границе скот и людей, что разбой этого и попрания княжеских прав было недостаточным, чтобы вспыхнул его гнев и вызвал бы определенные поступки, и что для него было бы гораздо естественней встретить известие о нападении сострадательной усмешкой. Но тогда — и это он хорошо понимал он совершил бы тяжкую несправедливость по отношению к гонцу, доведшему себя до полного изнеможения ради передачи этого известия, и не менее несправедлив он был бы к тем людям, которых

ограбили, к тем, кого взяли в плен, вырвав из мирной жизни и угнав в рабство на чужбину. Да и другим своим подданным, которых никто не обижал, он нанес бы своим отказом от бранной мести обиду, они были бы оскорблены, они никогда не смогли бы понять, как же это князь не защитил их страну, и когда на него самого нападут, он не сможет ожидать от них ни помощи, ни отмщения. И он понял, что его долг — мчаться в те края и мстить. Но что такое долг? И сколько у нас долгов, которыми мы так часто и без всякого сожаления пренебрегаем? И почему же этот долг мести не был одним из тех, которыми он мог бы пренебречь, и почему он сейчас выполняет его не в полсилы, а ревностно и со страстью? Не успел он задать себе этот вопрос, как сердце уже ответило на него — вновь его пронзила та глубокая боль, которую он испытал при расставании с принцем Раваной. И он понял: если бы он, князь Даса, не противясь, позволил грабить свои земли, угонять скот и людей, то разбой и насилие проникали бы все глубже в его страну и в конце концов поразили бы его самого, причинив наигорчайшую боль. Они отняли бы у него сына, похитили бы Равану, наследника, похитили бы и убили, быть может, даже под пыткой, что было бы верхом его страданий и куда более страшным ударом, чем даже смерть Правати. Вот почему он так спешил, погоняя коня, вот почему он так верен своему долгу князя и раджи. И вовсе он не был таким потому, что кто-то угнал скот, отнял у него полоску земли, и не потому, что он так жалел своих подданных, так дорожил честью отцовского имени и княжеского своего достоинства, а потому лишь, что так до боли сильно, так безумно любил сына и что так сильно, безумно боялся боли, какую могла бы ему причинить потеря его. Вот до чего Даса додумался во время своего похода. Но тогда ему так и не удалось настичь и наказать людей Говинды — они уже скрылись с награбленным добром, и, чтобы доказать свою храбрость и непреклонную волю, Дасе пришлось самому перейти границу, разорить деревню соседа и угнать скот и пленников. Много дней его не было в столице, и все же на обратном пути, после одержанной победы, он снова погрузился в глубокие размышления, был тих и вернулся во дворец словно чем-то опечаленный, ибо раздумья его привели к мысли о том, как прочно, без всякой надежды вырваться, всем своим существом, всеми поступками запутался он в коварных тенетах. И в то время как его склонность к размышлению, потребность в безмятежном тихом созерцании, бездеятельной и безвинной жизни все росла, с другой стороны, из его любви к Раване и из страха за него и забот о его жизни и будущем точно так же выростала необходимость действий, и он запутывался все больше: из ласки выростал спор, из любви — война; вот он уже — будь это даже ради справедливого возмездия — похитил стадо, нагнал смертельный страх на целую деревню, увел в плен бедных, ни в чем не повинных людей, а это повлечет за собой новые набеги, месть и насилие, и так чем дальше, тем больше, покуда вся его страна не будет охвачена войной и все не потонет в грохоте оружия. Именно это уразумение и предвидением заставило его так притихнуть и даже опечалиться при возвращении во дворец.

Дерзкий сосед и впрямь не давал покоя Дасе. Один разбойничий набег следовал за другим. В наказание и ради обороны Даса вынужден был вновь выступить, и когда врагу удавалось уйти за свою границу, он позволял солдатам и охотникам преследовать соседа и наносить ему все новый урон. В столице

больше и больше появлялось вооруженных верховых, в некоторых пограничных деревнях Даса теперь постоянно держал отряды воинов, дни сделались беспокойными от бесконечных военных советов и приготовлений. Даса не мог понять, какой смысл, какая польза от этих непрекращающихся стычек, он жалел всех, кто страдал от них, жалел убитых, свой сад и свои книги, которые теперь забросил, жалел об утраченном покое своей жизни и своей души. Об этом он часто говорил с брахманом Гопалой и несколько раз со своей супругой Правати. Следовало бы, сказал он, призвать в судьи кого-нибудь из уважаемых князей по соседству, дабы установить мир, и он сам, со своей стороны, охотно пошел бы на уступки, отдал бы и пастбища, и две-три деревни, только бы это помогло делу мира. Но ни жрец, ни Правати и слышать об этом не желали, и Даса был глубоко разочарован и раздосадован.

С Правати разговор вышел весьма бурным и привел к размолвке. Настойчиво, заклиная ее, он приводил свои доводы, излагал свои мысли, а она каждое слово воспринимала как направленное не против войны и бессмысленной бойни, а против нее самой. В том-то как раз и дело, поучала она его в своей пространный и пылкой речи, что неприятель намерен обратить добродушие и миролюбие Дасы, чтобы не сказать его страх перед войной, в свою пользу, он заставит Дасу заключить мир ради самого мира, и всякий раз надо будет платить за это уступками, отдавать земли и людей, но это вовсе не успокоит неприятеля, напротив, как только враг таким образом ослабит Дасу, он перейдет к большой открытой войне и отнимет у них последнее. Речь ведь не о стадах и деревнях, а о самом княжестве, быть ему или не быть. И если он, Даса, сам не знает, в каком он долгу перед своим сыном,— что ж, ее обязанность наставить его. Глаза ее горели, голос дрожал, давно уже Даса не видел ее такой красавицей, полной страсти, но он испытал от этого только печаль. Тем временем разбойничьи набеги, нарушения мира на границе продолжались и только на период больших дождей немного утихли. Все окружение Дасы разделилось теперь на две партии. Первая — партия мира — была малочисленной; кроме самого Дасы, к ней примыкали только несколько старых брахманов — люди ученые, целиком погрузившиеся в медитацию. На стороне партии войны, партии Правати и Гопалы, было большинство жрецов и все военачальники. Страна спешно вооружалась, и все знали, что враждебно настроенный сосед делал то же самое. Маленького Равану старший лучник обучал стрельбе из лука, а мать возила его на все смотры войск.

В то время Даса иногда вспоминал лес, где он, несчастный беглец, нашел себе прибежище на несколько недель, и седоволосого старика, жившего там ради самоуглубления. Даса думал о нем и чувствовал, как у него рождается желание вновь повидать его, выслушать его совет. Но он не знал, жив ли еще старец, да и пожелает ли выслушать его, дать ему совет, и даже если он жив и посоветует ему что-нибудь, ведь все равно — все пойдет своим чередом и ничто не изменится. Самоуглубление и мудрость — это хорошие и благородные вещи, но годятся они, должно быть, только в стороне от игры, на краю жизни, а если ты плывешь в потоке жизни, борешься с ее волнами, твои дела и муки ничего общего не имеют с мудростью, они приходят сами собой и становятся роком, их надо совершить и выстрадать. Даже боги не пребывали в вечном мире и вечной

мудрости, и они знали, что такое опасность и страх, знали борьбу и сражения. Даса слышал много рассказов об этом. И он сдался, перестал спорить с Правати, делал смотр войскам, чувствовал, как надвигалась война, переживал все ее страсти в лихорадочно томительных снах, и покуда он худел и лицо его темнело, он видел, как блекли и счастье, и вся радость его жизни. Осталась только любовь к сыну, и она росла вместе с заботой, росла вместе с военными приготовлениями, она красным цветком горела в ого опустевшем саду. Даса диву давался, сколько человек способен вынести пустоты, отсутствия радости, как он привыкает к заботам и неудовольствию; как такое, казалось бы, ставшее бесстрастным сердце может быть охвачено столь горячей и всеобъемлющей, столь боязливой и озабоченной любовью. Быть может, жизнь его и была лишена всякого смысла, но она не была лишена ядра, сердцевины — вся она вращалась теперь вокруг его любви к сыну. Ради него он вставал по утрам, ради него трудился весь день, ради него отдавал распоряжения, целью которых была война и каждое из которых было ему неприятно. Ради него он терпел бесконечные совещания военного совета, ради него лишь настолько противился решениям большинства, чтобы заставить его занять хотя бы выжидательную позицию и не бросаться очертя голову в безрассудные авантюры.

Как и сама радость жизни, его сад, его книги постепенно стали ему чуждыми, изменили ему, или он им, так постепенно делалась чужой и неверной ему и та, что была долгие годы счастьем и упоением его жизни. Все началось с политики, и тогда, когда Правати произнесла перед ним свою пылкую речь, почти открыто назвав его нежелание совершить несправедливость, его любовь к миру — трусостью, и когда она с раскрасневшимися щеками бросила ему в лицо жгучие слова о княжеском достоинстве, геройстве, позоре, — именно тогда его охватило чувство, похожее на головокружение, и он вдруг увидел, насколько отдалилась от него жена или он от нее. С тех пор пропасть между ними все ширилась и ширилась, и ни он, ни она ничего не предпринимали, чтобы перекрыть ее. Вернее, самому Дасе следовало бы что-то предпринять, ведь пропасть эту видел он один и это в его представлении она все ширилась и ширилась и наконец стала непроходимой бездной, пропастью между двумя мирами, между миром мужчины и миром женщины, между «да» и «нет», между душой и телом. Оглядываясь назад, он видел все очень ясно и четко: давно когда-то Правати, прекрасная Правати, влюбила его в себя, играла им, покуда не добилась, что он расстался со своими товарищами и друзьями и всей тихой, радостной пастушеской жизнью и ради нее поселился на чужбине, стал служить, стал зятем в доме недобрых людей, которые использовали его любовь и заставили тяжело трудиться. Потом появился этот Нала, и начались все беды Дасы. Нала отнял у него жену — он ведь был радшой, его нарядные одежды, шатры, слуги, кони соблазнили бедную, не привыкшую к роскоши женщину, и вряд ли это стоило ему хоть какого-нибудь труда. Однако мог ли бы он соблазнить ее так быстро и легко, будь она в глубине души целомудренна и верна? Ну что ж, раджа соблазнил ее или просто овладел ею и причинил Дасе самую горькую боль, какую Даса знал до тех пор. Но он, Даса, отместил, умертвив того, кто похитил его счастье, и это было великое торжество. Ему сразу же пришлось бежать. Многие дни, недели, месяцы он прятался в зарослях и тростнике, не доверяя никому, поставленный вне закона. Но что делала все это

время Правати? Никогда она не говорила ему об этом. Как бы то ни было, она не побежала за ним, а стала искать Дасу только тогда, когда его, как перворожденного, провозгласили князем, и он ей понадобился, чтобы взойти на престол и поселиться во дворце. Да, да, тогда-то она нашла его и увела из леса, оторвала от досточтимого отшельника. Дасу нарядили в богатые одежды, провозгласили раджей, но все это был лишь пустой блеск, лишь видимость счастья, а на самом деле, от чего он ушел тогда и на что променял свою жизнь в лесу? Променил на блестящее княжество, на обязанности князя, вначале показавшиеся ему легкими, но постепенно становившиеся все тяжелей и тяжелей, променял на свою прекрасную супругу, на сладостные часы любви с ней и на сына, на любовь к нему, но и на тревогу о его жизни, о его счастье, — война ведь стояла у порога! Вот что принесла с собой Правати после того, как увидела его у источника в лесу. Но чего он лишился, что покинул? А лишился он лесной умиротворенности, благочестивого одиночества, соседства и примера святого старца, надежды на ученичество и права стать преемником, надежды на обретение глубокого, сияющего, непоколебимого душевного покоя мудреца, надежды освободиться от борьбы и страстей, всегда сопутствующих жизни. Соблазненный красотой Правати, очарованный женщиной, он заразился ее тщеславием и покинул тот единственный путь, который только и может привести к освобождению и покою. Вот какой теперь представлялась ему его жизнь, да и впрямь ее легко было истолковать именно таким образом, стоило только чуть-чуть ее подкрасить и кое-что опустить. А опустил он, между прочим, то, что еще вовсе не был учеником отшельника, а напротив, сам же намеревался покинуть его. Как легко все смещается, когда оглядываешься назад!

Правати смотрела на это все, разумеется, по-иному, хотя она гораздо меньше думала об этом, чем ее супруг. О Нале она вообще не думала. Если воспоминания не обманывали ее, она одна и составила счастье Дасы, она добилась этого счастья и основала, его, это она сделала его снова раджей, подарила ему сына, отдала ему свою любовь, осчастливила его и в конце концов вынуждена была признаться себе: он недостоин ее величия, ее гордых замыслов. Ведь она была убеждена, что будущая война приведет только к поражению Говинды, а тем самым и к удвоению ее могущества, ее богатств. Но вместо того, чтобы радоваться этому и самому ревностно трудиться над достижением этой цели, Даса недостойным князя образом противился войне, словно ничего так страстно не желал, как состариться в покое среди своих цветов, деревьев, попугаев и книг. Разве можно поставить его рядом с начальником конницы Вишвамитрой, вместе с ней Вишвамитра — самый ярый сторонник войны и скорой победы. Сколько она ни сравнивала его с Дасой, победителем всегда выходил этот храбрый воин.

Сам Даса прекрасно видел, что жена его сблизилась с Вишвамитрой, видел, как она восхищалась им и позволяла восхищаться собой этому веселому, дерзкому, быть может, не очень умному и несколько поверхностному военачальнику, который всегда так громко смеялся, у которого были прекрасные крепкие зубы и холеная борода. С горечью смотрел на это Даса, но вместе с тем и с презрением, с тем насмешливым равнодушием, которое он сам

на себя напускал. Он не выслеживал их, да и не желал знать, перешагнула ли дружба этих двоих границы дозволенного, границы приличия. На эту влюбленность Правати и красивого полководца, на то, что она предпочла его чересчур уж негероическому супругу, Даса смотрел с тем же внешне безразличным спокойствием, однако с внутренним ожесточением и горечью, с какими он приучил себя смотреть на все, происходящее вокруг. Намеревалась ли она изменить ему, предать его, или это было только выражением ее презрения к образу мыслей Дасы — было не так уж важно, но что-то росло и развивалось, надвигаясь па него, как надвигалась война, как сам рок, и не существовало ничего, способного остановить это, не было другого выбора, как принять это и смиренно сносить свою участь, ибо в этом и заключался героизм и мужество Дасы, а совсем не в воинственных набегах и не в желании захватить чужие земли.

Оставалось ли восхищение Правати полководцем или его ею в пределах дозволенного, в пределах приличия или нет, во всяком случае — и он понимал это — Правати приходилось тут винить куда меньше, чем его самого. Он, Даса, мыслитель, мучимый сомнениями, был склонен приписывать женщине вину за растаявшее свое счастье или хотя бы считать ее в ответе за то, что сам запутался во всем: в любви и тщеславии, в стремлении отомстить и в разбойничьих набегах на земли соседа; да, в мыслях он считал женщину, любовь, сладострастие в ответе за все на земле, за всю эту дикую пляску, лихорадку страстей и желаний, за прелюбодеяние, смерть, убийство и войну. Но при этом он хорошо создавал, что Правати вовсе не виновница и не причина всего этого, она сама жертва, ни ее красота, ни его любовь к ней не сделали ее тем, чем она была, она лишь пылинка в солнечном луче, капля в потоке, и это был его долг уклониться от встречи с этой женщиной, от любви к ней, от жажды счастья, от тщеславных мыслей и либо остаться пастухом, довольным своей судьбой, либо пойти тайными путями йогов и преодолеть в себе несовершенное. Он упустил эту возможность, он потерпел поражение, к великому он не был призван или же сам изменил своему призванию, и жена его не так уж не права, называя его трусом. Но зато у него есть сын от нее, красивый ласковый мальчик, за которого он так боится и само существование которого все еще придаст его собственной жизни смысл и цену, порождает ощущение великого счастья. Правда, такое счастье причиняет боль, внушает страх, но все же это счастье, его счастье. И за это счастье он расплачивается страданиями и горечью в сердце, готовностью идти на войну, на смерть, создавая, что идет навстречу року. Там, по ту сторону границы, сидел раджа Говинда и мать убитого Налы, этого недоброй памяти соблазнителя, она без конца подстрекала Говинду на новые и новые набеги, и тот делался все наглее; только союз с могущественным раджей Гайпали придал бы Дасе достаточно сил, чтобы заставить злого соседа хранить мир. Но Гайпали, хотя и был расположен к Дасе, состоял в родстве с Говиндой и самым вежливым образом уклонялся от всех попыток заключить подобный союз. Нет, некуда Дасе деваться, нечего ему надеяться на разум и человечность, судьба надвигалась и надо было ее выстрадать. Даса сам уже почти желал прихода войны, хотел, чтобы низверглось наконец это скопище молний, ускорились бы все события, которых все равно не избежать. Он еще раз побывал у князя Гайпали, без всякого успеха обменялся с ним любезностями, предлагал в совете проявлять

терпение и осторожность, но делал все это уже без особой надежды и — вооружался. В совете мнения теперь расходились только в одном: ответить ли на очередной набег врага походом в его страну или же дожидаться, когда враг сам начнет войну, чтобы тот предстал перед пародом и всем светом в роли нападающего и нарушителя мира.

Однако враг не отягощал себя подобными вопросами и в один из дней положил конец всем этим рассуждениям, советам и колебаниям, напав на княжество Дасы. Сперва он инсценировал крупный набег на пограничные земли, заставивший Дасу и его начальника конницы в сопровождении лучших воинов поспешить к рубежам страны, и когда Даса был еще в дороге, неприятель ввел в бой главные силы, подошел к столице, ворвался в ворота и осадил дворец. Узнав о том, Даса немедленно повернул и поскакал обратно, и сердце его сжималось от жгучей боли, когда он думал, что сын его и жена заточены в осажденном дворце, что над ними нависла смертельная опасность и на улицах идет кровавый бой. Теперь его уже никак нельзя было назвать миролюбивым, осмотрительным военачальником — он обезумел от боли и ярости и в дикой скачке понесся со своими людьми к столице, застал на всех улицах кипящий бой, пробился к дворцу, вступил в рукопашную схватку с врагом и бился, словно бешеный, покуда наконец на закате этого кровавого дня в изнеможении и весь израненный не рухнул наземь.

Когда сознание вернулось к нему, он уже был пленником, сражение проиграно, а город и дворец заняты врагом. Связанного Дасу подвели к Говинде, тот с насмешкой приветствовал его и велел отвести в покои, те самые, что были с резными стенами и позолотой и где хранились многочисленные свитки. На ковре, прямая, с окаменелым лицом, сидела его жена Правати, за ней стояли стражи, а на коленях у нее лежал его сын Равана. Сломанным цветком поникло его безжизненное чело, лицо посеревшее, платье в крови. Жена не обернулась, когда ввели Дасу, она и не взглянула на него, без всякого выражения, не отрываясь, она смотрела на маленького мертвеца. Дасе она показалась странно изменившейся, и только немного спустя он заметил, что в волосах ее, несколько дней назад еще иссиня- черных, повсюду сквозила седина. Должно быть, она уже давно так сидела, застывшая, с лицом, превратившимся в маску, а мертвый мальчик лежал у нее на коленях.

— Равана! — закричал Даса.— Равана, сын мой, цветок мой! — Он упал на колени, прильнув лицом к голове мальчика; как на молитве, стоял он коленапреклоненный перед умолкнувшей женой и сыном, оплакивая обоих, поклоняясь обоим. Он чувствовал запах крови и тлена, смешавшийся с ароматом розового масла, которым были умащены волосы ребенка. Ледяным взглядом смотрела Правати на обоих.

Кто- то тронул Дасу за плечо — это был один из военачальников Говинды, он приказал ему встать и увел прочь. Ни единого слова не сказал Даса Правати, ни единого она ему.

Связанным его бросили на повозку и доставили в столицу княжества Говинды, где заточили в темницу; здесь с него сняли часть оков, солдат принес

кувшин с водой, поставив его на каменный пол, и удалился, замкнув дверь на засов. Одна из ран на плече горела огнем. Ощупью Даса нашел кувшин, смочил руки и лицо. Его мучила жажда, но он не стал пить — так он скорее умрет, решил он. Когда же это все кончится, когда же? Он жаждал смерти, как его пересохшая глотка жаждала воды. Только смерть избавит его сердце от пытки, только смерть навсегда сотрет в его душе образ матери с мертвым сыном на коленях. Но среди всей этой муки слабость и полное изнеможение как бы пришли ему на помощь, он опустилсся наземь и тут же задремал.

Пробудившись от короткого сна, еще ничего не сознавая, он хотел было протереть глаза, но не смог, обе руки оказались занятыми, они что-то держали. Тогда он окончательно проснулся, открыл глаза и не увидел никаких стен — повсюду был разлит яркий, ликующий свет: на деревьях, на листве, на мху. Даса долго моргал, этот свет ударил его бесшумно, но с огромной силой, и страшная дрожь пронизала его с головы до пят, он моргал и моргал, лицо его исказилось, словно в приступе плача, и наконец он вновь широко открыл глаза. Он стоял в лесу и держал в руках наполненный водой сосуд, у его ног переливался родник то зеленым, то бурным цветом, там, за папоротниковой чашей, он знал, находится шалаш и там его ждет йог, пославший его за водой, тот самый, который так странно смеялся, когда он просил рассказать ему о майе. Так, значит, он не проиграл сражения, не потерял сына, не был князем, не был отцом, и все же йог исполнил его желание и показал ему, что такое майя: дворец и сад, книги и птицы, княжеские заботы и отцовская любовь, война и ревность, любовь к Правати и мучительное недоверие к ней — все это было Ничто. Нет, не Ничто, все это было майя! Даса стоял потрясенный, слезы катились по щекам, в руках дрожал и колебался сосуд, которым он только что зачерпнул воды для отшельника, влага плескалась через край и сбегала по ногам. Ему почудилось, будто от него что-то отрезали, что-то изъяли из головы, и образовалась пустота: так внезапно он потерял столь долгие прожитые годы, оберегаемые сокровища, испытанные радости, перенесенную боль, пережитый страх и отчаяние, которые он изведаль, дойдя до самого порога смерти,— все это у него отнято, сгинуло, стерто, превратилось в Ничто и все же не в Ничто! Остались воспоминания, целые картины запечатлелись в мозгу; он все еще видел: вот сидит Правати, огромная и застывшая, с поседевшими в один миг волосами, а на коленях лежит сын, и кажется, будто это она сама задушила его, будто это ее добыча, а руки и ноги ребенка, словно завядшие стебельки, свисают с ее колен. О, как быстро, как чудовищно быстро и страшно, как основательно ему показали, что такое майя! Все куда-то отодвинулось, долгие годы, полные столь значительных событий, оказались сжатыми в мгновенья, и все, что представлялось ему такой насыщенной реальностью, все это он видел только во сне. А вдруг и все остальное, что было до этого, вся история о княжеском сыне Дасе, его пастушеской жизни, его женитьбе, его мести, его бегстве к отшельнику — вдруг все это были только картины, какие можно увидеть на резных стенах дворца, где среди листьев изображены цветы и звезды, птицы, обезьяны и боги! А то, что он, пробудившись, переживал и видел сейчас, после утраты княжества, после сражений и плена, то, что он стоит сейчас у источника с сосудом в руках, из которого опять выплеснулось немного воды, все его мысли — не из того же ли они материала, не сон ли все это, не мишура, не майя? А все, что ему еще

предстоит пережить, увидеть глазами, трогать руками, пока наконец не наступит смерть,— разве это будет из другого материала, разве это будет что-то другое? Нет, вся эта прекрасная и жестокая, восхитительная и безнадежная игра жизни, с ее жгучими наслаждениями и ее жгучей болью,— только игра и обман, только видимость, только майя. Даса все еще стоял ошеломленный. Сосуд в его руках опять дрогнул, выплеснувшись, вода сбегала по пальцам ног на землю. Что ж ему делать? Снова наполнить сосуд, отнести йогу, чтобы он посмеялся над ним, над всем тем, что Даса пережил во сне? Это было мало привлекательно. Он опустил сосуд, вылил воду и отшвырнул его в мох. Сел и стал размышлять. Хватит с него снов, этого демонического переплетения событий, радостей и страданий, разрывающих сердце и заставляющих стынть кровь, а потом вдруг оказывающихся майя и одурачивших тебя, хватит с него всего этого, не надо ему ни жены, ни детей, ни трона, ни побед, ни мести, ни счастья, ни ума, ни власти. Ничего ему не надо, кроме покоя, он жаждет конца, хочет остановить вечно крутящееся колесо, эту бесконечную смену видений, он жаждет стереть их. Да и себя он жаждет остановить и стереть, как он жаждал этого, когда в том последнем сражении набросился на врагов, рубил и крушил, когда рубили и крушили его самого, и он наносил раны и получал их в ответ, покуда не рухнул на землю. А что же было потом? Потом наступил провал беспамятства, или дремоты, или смерти. И тут же опять пробуждение, и в сердце вновь врывается волна жизни, поток чудовищных, прекрасных и страшных видений, бесконечный, неотвратимый, и ты не увернешься от него до следующего беспамятства, до следующей смерти. Да и она, возможно, будет лишь кратким перерывом, недолгим роздыхом, чтобы ты перевел дух и снова стал одной из тысяч фигур в этой дикой, дурманящей и безнадежной пляске жизни. Нет, это неизгладимо, этому нет конца! Какое-то беспокойство заставило его вскочить. Если уж в этой проклятой круговой пляске не дано покоя, если его единственное заветное желание нельзя исполнить, что ж, ничто не мешает ему снова зачерпнуть воды и отнести ее старику, как тот ему приказал, хотя никакого права не имел что бы то ни было приказывать. Это была услуга, какую от него потребовали, поручение, и его можно было послушно выполнить, это лучше, чем сидеть тут и выдумывать различные способы самоубийства, вообще послушание и служение куда легче и лучше, куда невинней и полезней, нежели власть и ответственность — это-то он хорошо знал. Итак, Даса, возьми-ка сосуд, зачерпни воды и отнеси ее своему господину! Когда он подошел к шалашу, учитель встретил его каким-то странным взглядом, и были в этом взгляде и вопрос, и сочувствие, и веселое понимание: это был взгляд, каким юноша встречает подростка после того, как тот пережил трудное и вместе с тем немного постыдное приключение, какое-нибудь испытание мужества. Этот царевич-пастух, этот приبلудный горемыка, хоть и бегал сейчас только к источнику, да и отсутствовал всего каких-нибудь четверть часа, но за это время успел побывать в темнице, потерять жену, сына, целое княжество, завершить целую человеческую жизнь, узреть вечно вращающееся Колесо. Скорей всего этот молодой человек и раньше пробуждался один или несколько раз и вдыхал глоток истины, иначе он не пришел бы сюда и не оставался бы так долго; но теперь он пробудился по-настоящему, теперь он созрел для долгого пути. Нужен

будет не один год, чтобы только поставить ему дыхание, научить его правильно сидеть.

И этим одним взглядом, содержащим лишь намек на участие, на возникшие между ними узы, узы учителя и ученика,— только этим одним взглядом йог совершил обряд приема Дасы в учение. Этот взгляд изгонял ненужные мысли из головы ученика и призывал его к покорности и служению.

Больше нам нечего рассказывать о жизни Дасы, все остальное произошло по ту сторону образов и действий. Леса он больше не покидал.